

МБУК «Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека»

«Надо просто взять и прочитать»

ВЫПУСК 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА «ЖИВАЯ КЛАССИКА»



Живая Классика

с. Грачевка, 2018 – 2019 гг.

**Не верь, не бойся, не проси
(Монолог Аси)**

...Меня зовут Ася. Мне нравится мое имя. В паспорте написано - Ассоль. В школе меня дразнили Фасолью. А мама меня называла Фасолинкой, поэтому я очень любила фасолевым суп. Сейчас я над ним просто плачу... Она говорила, что я самая красивая девочка в городке. Наверно, это так и было... Мне кажется, из меня должна получиться смешная старушка. Интересно, можно ли стать самой красивой старушкой в городе? Большие города меня пугают. Так легко заблудиться, потеряться, пропасть. Фасолинкой в большом котле. Хорошо бы остаться одной на всем белом свете. Пустые города, пустые страны, дороги... Я бы много путешествовала, увидела бы мир без людей, без никого... Одни только кошки пугливо перебегают улицы и смотрят из подворотен немигающими глазами...

Вы заметили, что кошки никогда не моргают? Только прищуриваются на мгновение. Они все сговорились никогда не моргать... Или жить на маяке, на острове, чтобы вокруг было море, скалы, птичий базар с чайками... С закрытыми глазами больше всего на свете я люблю слушать крики чаек... Еще я очень люблю оранжевый цвет. Я могу часами смотреть на апельсин, лежащий на столике у моей кровати. Когда он засыхает, я сжигаю его в печке и кладу свежий, душистый, оранжевый. Он светится в темноте, как маленькое заходящее солнце... Мысль, что я могу съесть это солнце, для меня кощунственна. Мне их покупали, а я их не ела, только смотрела. Все говорили - странная девочка, ты же просила апельсины, вот они...

Я странная девочка... Я очень странная девочка...

...

Я стесняюсь людей... Я их всегда стеснялась. Когда я выходила к доске, это еще в школе, я хорошо училась, особенно я любила литературу... И учительница любила меня. Когда я выходила к доске, у меня перехватывало горло, я не могла говорить, когда чьи-то глаза на меня смотрят... Мне и сейчас трудно говорить, когда вы на меня смотрите... Она понимала это, она была хорошая учительница. Она одной мне разрешала отвечать урок, повернувшись лицом к доске, вот так.

(Поворачивается спиной к зрителям.)

- Только говори чуть громче, - просила она.

Все смеялись, потом привыкли... И я привыкла видеть все спиной, не смейтесь... Два раза это спасало мне жизнь. Один раз это была машина, а второй раз это был человек. Они хотели убить меня, по глупости. Но не получилось. Поэтому я ничего и никого не боюсь. Я только боюсь встреч с моей учительницей... Она почему-то не может простить мне мою работу. Конечно, она интеллигентный человек, она здорова со мной, спрашивает о жизни, но я-то вижу, что она мучается, видя меня... Чтобы она не мучилась, я делаю вид, что не вижу ее. Мне легко это сделать, я близорукая. Я слишком много читала лежа, и испортила себе глаза. Но я не жалею. Без очков мир намного лучше, он такой пятнистый и расплывчатый... Все краски мягкие и нет резких переходов. У всех людей чистые, красивые лица, и на одеждах не видно никакой грязи... Это мой мир, и, пожалуйста, не входите в него без моего разрешения...

**Письма к тятеньке (папеньке)
(Монолог Дочери)**

Письмо 1

Здравствуй, папа. П-а-п-а. Четыре буквы, парно взятые из алфавита. Непривычные в сочетании для моих губ. Непроизносимые не помню, сколько уже лет. Режущие горло мелкими когтями остро наточенных булавок. Безусловный – как из учебника по биологии за 9-й класс – рефлекс на боль. Все, что я могу, - это безмолвно их рисовать на бумаге. Сказанные вслух они оглушат меня, как песнь сирены. Здравствуй. Мы с тобой знакомы едва ли. И даже тот факт, что когда-то мы были одним организмом, не делает нас ближе. В отличие от тебя, то время, когда я была одним из твоих сперматозоидов, скрыто от меня вечным мраком предрождения. Что ты тогда ко мне чувствовал? Уважал ли уже тогда во мне личность? Передав меня моей матушке, ты решил, что избавился от меня навеки. Не тут-то было. Сморщенным, орущим, иссиня-красным комочком вошла я в твою жизнь. Мешала спать по ночам и беспробудно пачкала пеленки. С расчетом на будущее, верно. Вышла же я из нее болезненно-восприимчивым подростком, с кожей и нервными окончаниями переставленными местами. Каждое соприкосновение с миром причиняло мне необъяснимое страдание. В любом социуме, будь то ровесники, семья или старики, мне становилось нехорошо. Наверное, я была слишком жадной на воздух. Помнишь ли ты меня такой?

А я тебя помню по обрывкам. Лоскутных воспоминаний. Затерявшихся фотографий. Недовыброшенной твоей одежды. Красным пятнам на запястье, когда за какой-то проступок ты перекрыл дыхание моим пальцам. Каждый ребенок хоть однажды заслуживает наказание. Но разве он заслуживает забвение?

Здравствуй. Тебя нет - может, никогда и не было, а я не знаю, что делать с твоим местом в моей жизни. Как отвечать на вопрос о тебе? Обычно я глухим голосом выговариваю, что у меня нет отца, но всякий раз при этом морщусь про себя. Могу ли я так говорить, если ты меня растил до хрупких семнадцати лет? Но их тоже больше нет. Как нет, впрочем, и сегодняшних двадцати – чуждых и слишком громоздких для меня. Я потеряла свой возраст лет пять тому назад, когда не смогла найти соответствие между духовным и телесным опытом. Мне любило казаться, что душа моя уже успела пережить то, что людям, меня окружающим, только предстоит. А мне, умудренной, суждено лишь снисходительно за ними наблюдать.

Но все оказалось иначе. Просто тогда я перестала расти. Сначала физически - осталась навечно в облике почти ребенка. А потом и мироощущением – задержалась в выдуманно-абстрактном мире. Ты меня недоростил. Не слышал, как я пела на последнем звонке (ах, да, я и забыла - ты всегда выходил из комнаты, когда я пою). Не держал меня за руку перед вступительным сочинением. Не утешал, когда я исплакала весь первый курс безутешно-безответной любовью. Порою я думаю, что всех, кроме мамы, люблю безответно. Если бы они знали, как сильны мои чувства к ним, то бежали бы без оглядки, чтобы уберечься от шквала предназначенных им эмоций. Да многие, по-моему, так и делают. Люди вообще предпочитают спокойствие. Равнодушие. Только равенство не душ, а холодности. Я безразличен к тебе, ты - ко мне, и все счастливы. Только как быть тем, кто неравен?

Здравствуй, папа. Неужели и тебя я люблю безответно? В буквальном смысле – да: сколько времени я заполняю пространство своих снов вопросами почему? почему? почему? и никогда не слышу твоего ответа. А в переносном... Но разве любят в переносном? Разве что маленьких детей, перенося их с места на место во время их безудержных ночных рыданий. - Шучу. Хотя шучу ли? Маленьких детей как раз и любят. Впрочем, как и молодых родителей.

Но люблю ли я тебя?..

Письмо 6

Что я делаю? Как это получилось? Когда это началось? Как будто я только что очнулась ото сна - я тебе пишу письма? Тебе, меня презревшему? От меня отрекшемуся? Перечеркнувшему мое детство и мое право на счастье? Я – те самые 80%, которые, по твоим подсчетам, растут в неполных семьях. Откуда у тебя такие цифры? И почему ты решил их пополнить новобранцами?

Мои щеки горят. У меня чувство, как бывает во сне, когда ты в ночной рубашке оказываешься на улице. Зачем я так разоткровенничалась? Разве мне так не хватало общения с тобой? Но мы никогда не были особенно близки. Хотя иногда мне казалось, что мы отлично понимаем друг друга. Не то, чтобы между нами существовала глубокая духовная связь – иногда это бывает между людьми – но мне всегда хотелось понимать тебя и быть на тебя похожей. Мне нравилось твое чувство юмора – тогда, когда ты умел необидно острить, твоя ловкая словесная эквилибристика, превращающая обычные фразы в новые формы языка, твое умение привлекать к себе внимание – не молодых женщин (продавщиц, официанток, моих подруг, при виде которых ты последнее время совсем терял над собой контроль), а всех людей, оказавшихся в зоне досягаемости. Ты был для меня образцом – отца, мужа, профессионала. Маленькая, я не думала, что существуют журналисты, талантливее тебя. Постарше, я верила, что ты действительно доблестный человек, боровшийся в начале 90-х за свободу слова. Боже, не было страшнее и бесконечнее часов, как те, что в августе 91-го мы провели в ожидании дальнейшей нашей (в политическом масштабе...) судьбы, в неведении относительно тебя. В короткие трескучие телефонные разговоры, когда мы были на даче, а ты в Москве, ты успевал прокричать, что кругом танки, и домой ты не придешь. Я помню душное, тошнотворное свертывание желудка, оглушающую неизвестность и темень перед глазами, когда мы думали, что с тобой может что-то случиться. Я успокаивала маму и пела потихоньку сестренке английские песенки – только так она, полуторогодовая, могла уснуть. Я помню свой ужас тогда: что я с ними буду делать, если тебя... Мне было 9 лет.

Через год я проснулась в неутешных рыданиях. Мне приснилось, что ты женился на другой женщине, и свадьба проходила прямо под нашими окнами. Ты вытирал мои слезы и говорил, что этого никогда, никогда не будет. Я нажимаю рычаги в своей внутренней машине времени, меня окутывает дым, я закрываю глаза и погружаюсь во тьму. Сейчас 92-й год. Я просыпаюсь. Слезы непрерывно льются из моих глаз. Я сижу на кровати, в ночной рубашке, и из меня выпрыгивают жалобные горловые стоны. Папа, папочка, скажи, что это не так! Что такого никогда не случится! Что никогда ты не променяешь нас на другую семью и не родишь себе вместо меня другую дочь! Папа! Что я не перестану быть твоей дочерью! Повтори, повтори еще раз, чтобы я лучше запомнила. Чтобы через много-много лет, когда я буду делать вид, что все хорошо, что мне вовсе не нужен отец, что я совершенно не страдаю из-за твоего ко мне безразличия, у меня в голове звучали твои слова: что ты, Нина, что за глупости. Я всегда буду тебя любить. Никто в целом мире не заменит мне тебя. Ты есть и будешь моя дочь.

- Ты думала, я герой, - сказал ты, уходя. – А я обычный человек. – Неужели ты считал, что я не смогу тебя любить как обычного отца? Как любят в деревнях, называя тяткой и утыкаясь лбом в широкое отцовское плечо?

Я очень устала. Устала бороться с твоим призраком. Играть твою роль в семье. Чувствовать на себе твою ответственность за маму и сестру. Устала, потому что у меня не бывает летнего отдыха. Устала ненавидеть тебя. Обвинять тебя в своих неудачах. Устала от попыток достучаться до тебя. Прорвать свинцовую броню вокруг твоего оплывшего жиром равнодушного сердца. В котором задохнулась, видимо, любовь ко мне.

- Я разлюбил тебя, как и твою мать.

– Скажи! Скажи, и я пойму тебя. Но я не понимаю молчания!..

Вино из одуванчиков (по Рею Бредбери)

Монолог Лумис

А я вам писала.

Нет, это письмо особенное. Запомните, как оно выглядит. Когда почтальон принесет вам его, это будет означать, что меня нет в живых. Не перебивайте. Через несколько дней я умру. Я не боюсь. Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха.

Вы должны мне кое-что обещать, Дуглас. Обещайте не дожить до глубокой старости. Очень советую - ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Элен Лумис. А вы только представьте: вот вы уже дряхлый старик, плететесь по Главной улице и вдруг видите меня, а мне только двадцать один, и все опять полетело вверх тормашками - ведь правда, это было бы ужасно? Так что, постарайтесь умереть, пока вам не исполнилось пятьдесят. Ведь я не знаю, сколько вас там продержат. А вдруг сразу отпустят обратно? Но я сделаю все, что могу, Дуглас, обещаю вам. Вы говорите, что смерть предсказать невозможно? Напрасно. Вот что, дорогой мой Дуглас. Полвека я наблюдаю за дедовскими часами в прихожей. Когда их заводят, я могу точно предсказать, в котором часу они остановятся. Так и с людьми. Они чувствуют, как слабеет завод, и маятник раскачивается все медленнее. Я чересчур зажила на свете, это ясно. А вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Ужасно досадное несовпадение. Но на следующем обороте колесики могут опять повернуться так, как надо...

Ох, пожалуйста, не смотрите на меня так. Мы ведь славно провели время, правда? Это было так необыкновенно хорошо - наши с вами беседы каждый день. А наши путешествия? Моя память и ваше воображение... Мы ведь с вами объехали весь мир! Мой дух соприкасался с вашим, и дни эти были лучшими в моей жизни. Еще о многом надо поговорить, да придется отложить до новой встречи. А пока... поговорим о чем-нибудь другом. Помните вот это:

Вино из одуванчиков,
Вино из одуванчиков,
Из ласкового ветра и шелковой травы.
Про дедушек и бабушек,
Про девочек и мальчиков
Про шорох пролетающей совы....

Самые эти слова - точно лето на языке. Пойманное и закупоренное в бутылки лето. И тогда, когда тебе двенадцать, и ты впервые узнал, что ты живой, что затем и ходишь по земле, чтобы видеть и ощущать мир, понимаешь еще одно... Частицу всего, что узнал, надо закупорить и сохранить. Потому что...

Чтобы песенки, в общем-то, спетой
На мгновенье сложились осколки,
Я стаканчик беру из буфета,
Достаю я бутылочку с полки.
А хранится в бутылочке этой,
В самых недрах хрустального свода
Совершенно конкретное лето
Совершенно конкретного года...

Письмо незнакомки

...Мой ребенок умер, наш ребенок, теперь мне некого любить на всем свете, кроме тебя. Но кто ты для меня, ты, никогда, никогда не узнающий меня, проходящий мимо меня, как мимо прозрачной воды, наступающий на меня, как на камень, ты, неизменно обрекающий меня на разлуку и вечное ожидание? Один раз мне казалось, что я удержала тебя, неуловимого, в ребенке. Но это был твой ребенок: он жестоко покинул меня и отправился в путешествие, он забыл меня и больше не вернется. Я опять одинока, одинока, как никогда, у меня ничего нет, ничего нет от тебя: ни ребенка, ни слова, ни строчки, никакого знака памяти, и если бы ты услышал мое имя, оно ничего не сказало бы тебе. Почему мне не желать смерти, когда я мертва для тебя, почему не уйти, раз ты ушел от меня? Нет, любимый, я не упрекаю тебя, я не хочу вселить свое горе в твой озаренный радостью дом. Не бойся, я не стану больше докучать тебе, прости мне, я должна была излить душу в час смерти своего ребенка. Только раз я должна была все высказать тебе, - потом я опять скроюсь во мраке и буду молчать, как всегда молчала перед тобой. Но ты не услышишь моего стога, пока я жива, - только когда я умру, получишь ты это завещание, завещание женщины, любившей тебя больше, чем все другие, и которой ты никогда не узнавал, всю жизнь ожидавшей тебя и не дождавшейся твоего зова. Быть может, быть может, ты позовешь меня тогда, и я в первый раз нарушу верность тебе: я не услышу тебя из могилы. Я не оставлю тебе ни портрета, ни знака памяти, как и ты мне ничего не оставил; никогда ты не узнаешь меня, никогда. Такова была моя судьба в жизни, пусть будет так и в моей смерти. Я не позову тебя в мой последний час, я ухожу, и ты не знаешь ни моего имени, ни моего лица. Я умираю легко, потому что ты не чувствуешь этого издалека. Если бы тебе было больно, что я умираю, я не могла бы умереть.

Я больше не могу писать... такая тяжесть в голове... все тело ломит, у меня жар... кажется, мне сейчас придется лечь. Может быть, скоро все кончится, может быть, хоть раз судьба сжадется надо мной, и я не увижу, как унесут мое дитя... Я больше не могу писать... Прощай, любимый, прощай, благодарю тебя. Все, что было, было хорошо, вопреки всему... я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо - я сказала тебе все, ты теперь знаешь, нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила, и в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет недоставать меня - это меня утешает. Ничто не изменится в твоей прекрасной, светлой жизни... я не омрачу ее своей смертью... это утешает меня, любимый.

Но кто... кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза опустеет, легкое дуновение моей жизни, раз в год овевавшее тебя, - развеется и оно! Любимый, послушай, я прошу тебя... это моя первая и последняя просьба к тебе... исполни ее ради меня: каждый год, в день твоего рождения - ведь это день, когда думают о себе, - покупай розы и ставь их в синюю вазу. Делай это, любимый, делай это так, как другие раз в году заказывают панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в бога и не хочу панихид, я верю только в тебя, я люблю только тебя и жить хочу только в тебе... ах, только один раз в году, незаметно и неслышно, как я жила подле тебя... Прошу тебя, исполни это, любимый... это моя первая просьба к тебе и последняя... благодарю тебя... люблю тебя, люблю мой хороший... Прощай...

Слово о маме

Нет на земле ближе и роднее человека, чем мама. И даже не важно, сколько тебе лет, пять или пятьдесят, всегда нужна ее поддержка, ее добрый взгляд и просто важно слышать ее ласковый голос.

«Мама!» - это первое слово, которое произносит человек. Вслушайтесь в это сочетание звуков – МАМА! Сколько в нем теплоты, сколько до боли близкого, до слез родного.

Но чем больше мы вырастем, тем меньше, как нам кажется, нуждаемся в маме. Нас закручивают вихри событий, фейерверк новых знакомств и встреч, манят «чудесные дали», о порой мы забываем о ней, о маме...А она ждет, переживает за нас, надеется, что мы позвоним, расскажем как дела и просто поговорим. И каждый раз она с надеждой подходит к почтовому ящику в поисках заветного письма. Но мы во всем этом жизненном водовороте лишь изредка шлем письма, совсем короткие.

Маме оказывается больно оттого, что мне некогда быть с ней откровенной, и очень одиноко, потому что у меня сто тысяч дел вокруг, а у нее одна надежда – что у меня все хорошо.

Когда мама рядом, это кажется привычным и обыденным. Но стоит ей только уехать на пару дней в командировку, и все вокруг рушится и становится абсолютно другим. Я сразу понимаю, что дом живет и светит только ею. Даже мой любимый кот ходит и ищет ее, жалобно мяукая. Возвращаясь, домой из школы, я вижу, как в окнах, горит свет. Я знаю, что мама ждет меня. Сколько сразу чувств одолевает мою душу! И радость, и волнение от ожидания встречи с ней. И все мои мелкие невзгоды рассыпаются сами собой.

Каждый раз, когда я захожу в дом, она встречает меня и задает мне множество вопросов, но у меня нет сил на них отвечать. Мама! Это только оттого, что я очень-очень устала. Ты даже не представляешь, как для меня важно, что ты меня ждешь.

Я знаю, что ты всегда радуешься моим победам и переживаешь даже больше, чем я из-за моих неудач и неприятностей.

А если вдруг я заболел, ты среди ночи услышишь, что я кашляю, осторожно встанешь с кровати и тихонько, стараясь не будить меня, шупаешь мой горячий лоб и горестно вздыхаешь, качая головой.

На следующий день покупаешь мне любимый торт, и лишь на закуску даешь многочисленные лекарства. Наверное, такой способ лечения тебе кажется правильным.

Вечер... Горит лампа на моем столе. Вокруг меня книги, учебники... Часы на стене подбираются к полуночи. Я сижу, погруженная в сложный мир науки. И вдруг чья-то рука дотрагивается до моего плеча. Это мама принесла мой любимый лимонный чай и интересуется, как у меня дела. Сколько ты для меня делаешь! Я понимаю это только сейчас, когда мне осталось совсем немного до окончания школы, и я уеду в чужой для меня город.

Просматриваю семейные фотографии, где ты смеешься, стоя возле берез, вдруг отчетливо понимаю, что я ее люблю. Очень люблю. Несмотря ни на что: ни на наши небольшие разногласия. Ведь ты идешь мириться ко мне первой, и не перестаешь быть

рядом, даже во время ссор, поддерживаешь меня и всегда прощаешь, какой бы горькой не была нанесенная мной обида.

Ты оказывается, меня очень-очень любишь, чтобы я не сделала. И для меня ты самая лучшая, самая красивая, самая любимая, только потому, что ты - моя мама.

Но наша природа полна загадок. Даже если мама просто биологическая, ребенок все равно ее любит. Я имела возможность в этом убедиться. В редакцию нашей детской газеты «Шумок» пришло письмо со стихотворением посвященном маме. Сколько в этих строках было искренности! Я читала это письмо, и глаза наполнялись слезами, потому что строки были посвящены женщине, не способной подарить своим детям тепло, любовь, ласку. А ребенок, даже понимая, что он ей не нужен, любит ее, посвящает ей стихотворение. Здесь даже ничего не скажешь, кроме того, что мама есть мама. И она нужна каждому человеку, всем без исключения.

Иногда, когда я вижу ее спящей, мне так хочется прижаться к ней, чтобы она отошла от сна, погладила меня по головке, как маленькую девочку, поцеловала, сказала что-то особенное. Но мне становится как-то неловко оттого, что я такая, почти уже взрослая, напрашиваюсь на ласку. Это просто я очень люблю свою маму, и так сильно, что иногда мне кажется, что от ее любви и тепла разрывается сердце.

А ведь мы признаемся ей в любви очень редко, на Восьмое Марта, ее День Рождения или в исключительных случаях, а надо бы это делать чаще, просто так.

Ведь от простого «я тебя люблю» в маминых глазах столько счастья!

Порой мне хочется сказать: « Мама! Прости меня за невнимание к тебе. Прости за все обидные слова, которые я говорила. Прости за мой ужасный характер. Я обязательно стану лучше! Прости за все слова, которые не сказала и за поступки, которые не совершила, потому что мне не хватило смелости. Прости за то, что так редко говорю: «Прости меня!», а еще реже – «Люблю тебя».

ЛЕНОЧКА

(Трек «Поиск раненых» из фильма «Звезда»)

Теплом и гомоном грачей наполнялась весна. Казалось, что уже сегодня кончится война. Уже четыре года как я на фронте. Почти никого не осталось в живых из санинструкторов батальона.

Моё детство как-то сразу перешло во взрослую жизнь. В перерывах между боями я часто вспоминала школу, вальс...

А наутро война. Решили всем классом идти на фронт. Но девчонок оставили при больнице проходить месячные курсы санинструкторов.

Когда я прибыла в дивизию, уже видела раненых. Говорили, что у этих ребят даже оружия не было: добывали в бою. Первое ощущение беспомощности и страха я испытала в августе сорок первого...

— Ребята есть кто живой? – пробираясь по окопам, спрашивала я, внимательно глядя в каждый метр земли. – Ребята, кому помощь нужна?

Я переворачивала мёртвые тела, все они смотрели на меня, но никто не просил помощи, потому что уже не слышали. Артналёт уничтожил всех...

— Ну не может такого быть, хоть кто-то же должен остаться в живых?! Петя, Игорь, Иван, Алёшка! – я подползла к пулемёту и увидела Ивана.

— Ванечка! Иван! – закричала во всю мощь своих лёгких, но тело уже остыло, только голубые глаза неподвижно смотрели в небо.

Спустившись во второй окоп, я услышала стон.

— Есть кто живой? Люди, отзовитесь хоть кто-нибудь! – опять закричала я.

Стон повторился, неясный, глухой. Бегом побежала мимо мёртвых тел, ища его, оставшегося в живых.

— Миленький! Я здесь! Я здесь!

И опять стала переворачивать всех, кто попадался на пути.

— Нет! Нет! Нет! Я обязательно тебя найду! Ты только дождись меня! Не умирай! – и спрыгнула в другой окоп.

Вверх, взлетела ракета, осветив его. Стон повторился где-то совсем рядом.

— Я же потом никогда себе не прощу, что не нашла тебя, – закричала я и скомандовала себе: — Давай. Давай, прислушивайся! Ты его найдёшь, ты сможешь!

Ещё немного – и конец окопа. Боже, как же страшно! Быстрее, быстрее! «Господи, если ты есть, помоги мне его найти!» – и я встала на колени. Я, комсомолка, просила Господа о помощи...

Было ли это чудом, но стон повторился. Да он в самом конце окопа!

— Держись! – закричала я что есть сил и буквально ворвалась в блиндаж, прикрытый плащ-палаткой.

— Родненький, живой! – руки работали быстро, понимая, что он уже не жилец: тяжелейшее ранение в живот. Свои внутренности он придерживал руками.

— Тебе придётся пакет доставить, – тихо прошептал он, умирая.

Я прикрыла его глаза. Передо мной лежал совсем молоденький лейтенант.

— Да как же это?! Какой пакет? Куда? Ты не сказал куда? Ты не сказал куда! — осматривая все вокруг, вдруг увидела торчащий в сапоге пакет.

«Срочно, — гласила надпись, подчёркнутая красным карандашом. — Полевая почта штаба дивизии».

Сидя с ним, молоденьким лейтенантом, прощалась, а слезы катились одна за другой. Забрав его документы, шла по окопу, шатаясь, меня подташнивало, когда закрывала по пути глаза мёртвым бойцам.

Пакет я доставила в штаб. И сведения там, действительно, оказались очень важными. Только вот медаль, которую мне вручили, мою первую боевую награду, никогда не надевала, потому как принадлежала она тому лейтенанту, Останькову Ивану Ивановичу.

...После окончания войны я передала эту медаль матери лейтенанта и рассказала, как он погиб.

А пока шли бои... Четвёртый год войны. За это время я совсем поседела: рыжие волосы стали совершенно белыми. Приближалась весна с теплом и грачиным гомоном...

«А вдруг?»

С утра прошёл дождь. Алёшка прыгал через лужи и быстро – быстро шагал. Нет, он вовсе не опаздывал в школу. Просто он ещё издали заметил синюю шапочку Тани Шибановой.

Бежать нельзя: запыхаешься. А она может подумать, что бежал за ней всю дорогу.

Ничего, он и так её догонит. Догонит и скажет... Только вот что сказать? Больше недели, как поссорились. А может, взять да и сказать: «Таня, пойдём в кино сегодня?» А может, подарить ей гладкий чёрный камушек, который он привёз с моря?...

А вдруг Таня скажет: «Убери, Вертишеев, свой булыжник. На что он мне нужен?!»

Алёша сбавил, было, шаг, но, взглянув на синюю шапочку, вновь заторопился.

Таня шла себе преспокойно и слушала, как машины шуршат колёсами по мокрой мостовой. Вот она оглянулась и увидела Алёшку, который как раз перепрыгивал через лужу.

Она пошла тише, но больше не оглядывалась. Хорошо бы он догнал её возле палисадника. Они пошли бы вместе, и Таня спросила бы: «Не знаешь, Алёша, почему у одних клёнов листья красные, а у других жёлтые?» Алёшка посмотрит, посмотрит и... А может, и не посмотрит совсем, а буркнет только: «Читай, Шибанов, книжки. Тогда всё будешь знать». Ведь поссорились...

За углом большого дома была школа, и Таня подумала, что Алёшка не успеет догнать её... Нужно остановиться. Только ведь не встанешь просто так посреди тротуара.

В большом доме был магазин «Одежда», Таня подошла к витрине и принялась рассматривать манекены.

Алёшка подошёл и встал рядом...

Таня посмотрела на него и чуть улыбнулась...

«Сейчас что-нибудь сказанёт»,- подумал Алёшка и, чтобы опередить Таню, проговорил:

- А-а, это ты, Шибанов. Здравствуй...

- Привет, Вертишеев, - бросила она.

Алёшка быстро зашагал дальше, а Таня задержалась у витрины.

Снова начал накрапывать дождь.

**После театра
(Монолог Нади Зелениной)**

Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали «Евгения Онегина», и, придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна.

«Я люблю вас, - написала она, - но вы меня не любите, не любите!»

Написала и засмеялась.

Ей было только шестнадцать лет, и она еще никого не любила. Она знала, что ее любят офицер Горный и студент Груздев, но теперь, после оперы, ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбимой и несчастной — как это интересно! В том, когда один любит больше, а другой равнодушен, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онегин интересен тем, что совсем не любит, а Татьяна очаровательна, потому что очень любит, и если бы они одинаково любили друг друга и были счастливы, то, пожалуй, показались бы скучными.

«Перестаньте же уверять, что вы меня любите, - продолжала Надя писать, думая об офицере Горном. - Поверить вам я не могу. Вы очень умны, образованны, серьезны, у вас громадный талант и, быть может, вас ожидает блестящая будущность, а я неинтересная, ничтожная девушка, и вы сами отлично знаете, что в вашей жизни я буду только помехой. Правда, вы увлеклись мною и вы думали, что встретили во мне ваш идеал, но это была ошибка, и вы теперь уже спрашиваете себя в отчаянии: зачем я встретил эту девушку? И только ваша доброта мешает вам сознаться в этом!..»

Наде стало жаль себя, она заплакала и продолжала:

«Мне тяжело оставить маму и брата, а то бы я надела монашескую рясу и ушла, куда глаза глядят. А вы бы стали свободны и полюбили другую. Ах, если бы я умерла!»

Сквозь слезы нельзя было разобрать написанного; на столе, на полу и на потолке дрожали короткие радуги, как будто Надя смотрела сквозь призму. Писать было нельзя, она откинулась на спинку кресла и стала думать о Горном.

Боже мой, как интересны, как обаятельны мужчины! Надя вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывает у офицера, когда с ним спорят о музыке, и какие при этом он делает усилия над собой, чтобы его голос не звучал страстно. В обществе, где холодное высокомерие и равнодушие считаются признаком хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть. И он прячет, но это ему не удается, и все отлично знают, что он страстно любит музыку. Бесконечные споры о музыке, смелые суждения людей непонимающих держат его в постоянном напряжении, он напуган, робок, молчалив. Играет он на рояле великолепно, как настоящий пианист, и если бы он не был офицером, то наверное был бы знаменитым музыкантом.

Слезы высохли на глазах. Надя вспомнила, что Горный объяснял ей в любви в симфоническом собрании и потом внизу около вешалок, когда со всех сторон дул сквозной ветер.

«Я очень рада, что вы, наконец, познакомились со студентом Груздевым, - продолжала она писать. - Он очень умный человек, и вы, наверное, его полюбите. Вчера

он был у нас и просидел до двух часов. Все мы были в восторге, и я жалела, что вы не приехали к нам. Он говорил много замечательного».

Надя положила на стол руки и склонила на них голову, и ее волосы закрыли письмо. Она вспомнила, что студент Груздев тоже любит ее и что он имеет такое же право на ее письмо, как и Горный. В самом деле, не написать ли лучше Груздеву? Без всякой причины в груди ее шевельнулась радость: сначала радость была маленькая и каталась в груди, как резиновый мячик, потом она стала шире, больше и хлынула как волна. Надя уже забыла про Горного и Груздева, мысли ее путались, а радость всё росла и росла, из груди она пошла в руки и в ноги, и казалось, будто легкий прохладный ветерок подул на голову и зашевелил волосами. Плечи ее задрожали от тихого смеха, задрожал и стол, и стекло на лампе, и на письмо брызнули из глаз слезы....

...Она была не в силах остановить этого смеха и, чтобы показать самой себе, что она смеется не без причины, она спешила вспомнить что-нибудь смешное. Она вспомнила, как Груздев вчера после чаю шалил с пуделем Максимом и потом рассказал про одного очень умного пуделя, который погнался на дворе за вороном, а ворон оглянулся на него и сказал:

- Ах ты, мошенник!

Пудель, не знавший, что он имеет дело с ученым вороном, страшно сконфузился и отступил в недоумении, потом стал лаять.

- Нет, буду лучше любить Груздева, - решила Надя и разорвала письмо.

Она стала думать о студенте, об его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались, и она думала обо всем: о маме, об улице, о карандаше, о рояле... Думала она с радостью и находила, что всё хорошо, великолепно, а радость говорила ей, что это еще не всё, что немного погода будет еще лучше. Скоро весна, лето, ехать с мамой в Горбики, приедет в отпуск Горный, будет гулять с нею по саду и ухаживать. Приедет и Груздев. Он будет играть с нею в крокет и в кегли, рассказывать ей смешные или удивительные вещи.

Гвардейский значок

Я иду который раз по улице. Сентябрь. Незнакомый мне мальчик ногами гоняет по асфальту старый гвардейский значок. Глухо звенит бронза и...

Тогда тоже был сентябрь.

Страшно было перед атакой немцев, когда я - совсем молодой, четырнадцатилетний – сидел в окопе и ждал команды. Я видел перед собой спину командира, и он должен был дать команду, но все не давал. Внезапно раздался страшный взрыв. Меня отшатнуло куда-то в сторону, и последнее, что я смог увидеть, была яркая вспышка. И все заволокло туманом. А потом...

Было только небо и кузнечик. Просто небо и просто кузнечик, стрекотание которого я вдруг услышал. Потом я стал чувствовать свое тело. Но радости почти не было. Была боль. Я застонал. Теплая струйка потекла в горло, забивая дыхание.

- Пить хочешь?

В воронке, оставшейся от снаряда, недалеко от меня лежала девушка.

- Да, - сказал я и еще раз сглотнул. Было такое ощущение, что меня полоснули по горлу бритвой. Было как-то особенно больно. Я лежал на боку, она тоже. И мы смотрели друг на друга.

- Тебе пить нельзя. У тебя рана на шее. Сейчас перевяжу, - сказала девушка, и стала ползти ко мне.

Я заметил, что ползет она как-то очень медленно. От ее губ шрамом по щеке протянулась алая дорожка. На ее гимнастерке, рядом с гвардейским значком, виднелось огромное пятно запекшейся крови.

- Лучше лежи, - сказал я. - Обойдусь и так.

- Нет, - сказала она. - Я сделаю тебе перевязку. Чего бы мне это ни стоило...

Я лежал и слушал, как она ползет. Где-то вдалеке грохотали выстрелы, раздавались взрывы, кто-то умирал и выживал. Я закрыл глаза и подумал, что теперь все равно. Но...

Она, наконец, дошла до меня. Взглянула на меня своими большими синими глазами как-то очень пристально.

- Подними голову, - попросила.

- Не могу. Сил не хватает.

- Надо. Иначе кровью изольешь.

- А ты?

- Я в порядке. Подними, сказала. Я тебя очень прошу. Подними!

Долго тянулась эта мучительная для нас обеих процедура - перевязка. Наконец, все было закончено. Вконец обессиленные, мы лежали рядом и говорили. Она - о маме, о Волге, о школе... Я - о Черном море. Станные это были рассказы: мы часто теряли сознание, бредили, но упрямо говорили и говорили. И каждый что-то бормотал, словно отбивая кому-то невидимому телеграммы с одними и теми же текстами: "еще жив", "еще жива", "еще есть"....

В тыл ее увозили первой. Я слышал, как она сказала санитару:

- Мой гвардейский значок отдайте вот этому мальчику.

Значок отдали, хотя санитаров потом здорово ругали за задержку. Я лежал спеленатый как младенец. Даже глаза завязали марлей. А рядом на подушке был ее значок...

Больше никогда в жизни я не встречал моей спасительницы. И даже не знаю, как ее звали, и жива ли она сейчас. Только выщербленный пулей гвардейский значок храню, как память о Человеке, о синеглазой девушке с Волги.

Храню как память...

**Марьино поле
(Монолог Маши)**

Я думала он давно погиб, а он вернулся...

Лежу совсем уже мертвая, голова остывает... и вдруг чую, берет меня за руку...

«Здравствуй, - говорит, - Машенька»...

И гладит так нежно... - «Это я, твой Ваня, вернулся к тебе... Посмотри на меня, живой я!».

А я открыла глаза, вначале признать не могу... Откуда??? И точно, стоит мой Иван как днем весь в свету...

«Что же ты», - говорит, - зайчика, меня перед смертью даже и не вспомнила... Ты, верно, забыла меня?».

«Война - дело не скорое... Победу сто лет ждут. Знаю, всё про тебя, Марья... На станцию ходила... А похоронку за зеркалом держишь... Но я-то живой!»

- А я гляжу, и глазам своим верить не могу... Точь-в точь как на карточке – молоденький танкист... И ни одной сединки, представляешь...

- «Не хорошо», - говорит, - «Маша... Муж твой с войны возвращается, а ты печальна лежишь... А ну-ка, вставай!».

Сели за стол, налили, выпили. Он спрашивает: «Тут что... тоже... война с фрицем была?».

Я ему – «Да вроде его... Кто съехал, кто умер...Сима, Прасковья и я - втроем мы здесь доживали, пока я не померла». - Молчим.

А он грустно глядит так в окно: «Эх, люди, что ж вы с нашей страной наделали?.. Куда не глянь - везде разруха, везде одна могила. Эх... И врагов нет, и друзей нет, и ни добрых, и не злых... Никого нет. Ничего нет. Посмеяться бы, да смеха нет, поплакать бы, да слезы высохли... Стыд один». Снова выпил, и вдруг говорит - «Но нам ли печалиться, Маша?! Русский солдат на то и герой, что любое чудо сварганит! Вся деревня думала, что мы на фронтах погибли?! А-н нет! Мы смерть облопошили!».

«Все мы живые, все как есть до единого! И вернемся», - говорит, - «на литерных поездах. Все в орденах, при параде! И заново все наладим, отстроим, и лучше прежнего заживем! А сейчас», - говорит, - «отправляйтесь на станцию встречать нас. Мы вернемся к маю, вровень к кануну победы».

Вернемся, говорит, а число не назвал. Вот тут и думай, когда вернуться?

Когда???...

**Тим Тайлер или Проданный смех
(Монолог Тима Тайлера, финальная сцена)**

Вдруг наступила зловещая тишина. Тим заключил пари, как ему подсказали, но он все еще не понимал, что случилось. Он стоял растерянный и онемевший. Три дорогих лица, едва освещенные светом далекого фонаря, были обращены к нему с выражением ожидания. Его же лицо находилось в тени, только кусочек лба белым пятнышком светился в темноте.

Тим стоял, опустив глаза в землю. И все-таки он чувствовал на себе эти спрашивающие взгляды. У него было смутное чувство, будто что-то должно сейчас подняться в нем, выйти из неволи, что-то тихое, легкое, свободное, словно птица, словно щебет ласточки, рвущийся на простор. Но сам Тим был как бы еще слишком тяжел для этого, и он чувствовал себя беспомощным. Да, он услышал их, эти переливы с веселым, захлебывающимся смешком на конце. Но он словно все еще не владел своим прежним смехом: скорее это смех овладел им. Теперь, когда наступил долгожданный, выстраданный за долгие годы миг, Тим почувствовал, что сам он еще к нему не готов. Нет, он не смеялся - его сотрясал смех. Пришел час его счастья, а он... он был отдан на произвол этому счастью. Тогда, в кукольном театре, он заметил, как внешне, мимикой и движениями, смех похож на плач. Теперь ему казалось, что смех и плач - это почти одно и то же: он плакал и смеялся одновременно.

Слезы катились по его щекам; он бессильно опустил руки; он даже не смотрел на своих друзей. У него было такое чувство, словно он рождается заново. Он снова был маленьким мальчиком и стоял перед окошком кассы на ипподроме: он выиграл деньги, очень много денег. Он плакал от счастья, что выиграл пари, и от горя, что отец его умер и уже никогда больше не разделит с ним его счастья...

Краткая анатомия человека

Одного семинариста спросили на экзамене: "Что такое человек?" Он отвечал: "Животное"... И, подумав немного, прибавил: "но... разумное"... Просвещенные экзаменаторы согласились только со второй половиной ответа, за первую же вlepили единицу. Человека как анатомическое данное составляют:

Скелет, или, как говорят фельдшера и классные дамы, "шкилет". Имеет вид смерти. Покрытый простынею, "пугает насмерть", без простыни же - не насмерть.

Голова имеется у всякого, но не всякому нужна. По мнению одних, дана для того, чтобы думать, по мнению других — для того, чтобы носить шляпу. Второе мнение не так рискованно... Иногда содержит в себе мозговое вещество. Один околоточный надзиратель, присутствуя однажды на вскрытии скоропостижно умершего, увидал мозг. "Это что такое?" — спросил он доктора. — "Это то, чем думают", — отвечал доктор. Околоточный презрительно усмехнулся...

Лицо. Зеркало души, но только не у адвокатов. Имеет множество синонимов: морда, физиономия (у духовенства - физиогномия и лице), физия, физиомордия, рожество, образина, рыло, харя и проч.

Лоб. Его функции: стучать о пол при испрошении благ и биться о стену при неполучении этих благ. Очень часто дает реакцию на медь.

Глаза — полицеймейстеры головы. Блюдут и на ус мотают. Слепой подобен городу, из которого выехало начальство. В дни печалей плачут. В нынешние, беспечальные, времена плачут только от умиления.

Нос дан для насморков и обоняния. В политику не вмешивается. Изредка участвует в увеличении табачного акциза, чего ради и может быть причислен к полезным органам. Бывает красен, но не от вольнодумства — так полагают, по крайней мере, сведущие люди.

Язык. По Цицерону: враг людей и друг дьявола и женщин. С тех пор, как доносы стали писаться на бумаге, остался за штатом. У женщин и змей служит органом приятного времяпрепровождения. Самый лучший язык - вареный.

Затылок нужен одним только мужикам на случай накопления недоимки. Орган для расходившихся рук крайне соблазнительный.

Уши. Любят дверные щели, открытые окна, высокую траву и тонкие заборы.

Руки. Пишут фельетоны, играют на скрипке, ловят, берут, ведут, сажают, бьют... У маленьких служат средством пропитания, у тех, кто побольше, — для отличия правой стороны от левой.

Сердце — вместилище патриотических и многих других чувств. У женщин — постоянный двор: желудочки заняты военными, предсердия — штатскими, верхушка — мужем. Имеет вид червонного туза.

Талия. Ахиллесова пятка читательниц "Модного света", натурщиц, швеек и прапорщиков-идеалистов. Любимое женское место у молодых женихов и у... продавцов корсетов...

Брюшко. Орган не врожденный, а благоприобретенный. Начинает расти с чина надворного советника. Статский советник без брюшка — не действительный статский советник. (Каламбур?! Ха, ха!) У чинов ниже надворного советника называется брюхом, у купцов — нутром, у купчих — утробой.

Микитки. Орган в науке не исследованный. По мнению дворников, находится пониже груди, по мнению фельдфебелей — повыше живота.

Ноги растут из того места, ради которого природа березу придумала. В большом употреблении у почталыонов, должников, репортеров и посыльных.

Пятки. Местопребывание души у провинившегося мужа, проговорившегося обывателя и воина, бегущего с поля брани.

Про окно

В детстве я часто оставалась одна дома. Когда болела. Мама и папа работали врачами, и не могли надолго оставлять пациентов. И зимой быстро становилось темно. И страшно одной в пустой квартире. И на горле - колючий шарфик, для прогрева. Но можно было смотреть в окно - там светил ярко фонарь. И падал крупными хлопьями снег. Подбородком упруешься в подоконник - и кажется, что не страшно совсем. Пустынная улица, тихий вечер, месяц на небе. И в другом окне - мальчик в пижаме. Худенький, с челочкой и тоже - с шарфиком. Тоже болеет. Помашешь ему рукой - он машет в ответ. Или показывает машинку - он играет машинкой. Но ему не очень удобно махать - он на костылях.

Так проходит вечер в тихой игре, а потом повернется ключ в дверях - мама пришла! Или - папа! И страхи забыты, и мальчик, - я снова в своей квартире, дома, где светло и не страшно. И так проходил день за днем, а потом настала весна, и можно стало гулять во дворе, а в окно и смотреть незачем - весна на улице. Но я мальчика все равно помнила и мне жалко было его - что он на костылях. И я все ждала, что, может, он выйдет гулять - но никак не могла понять, в каком доме он живет. И найти его окно - весной все окна одинаковы. Наверное, он в своем дворе гуляет - я сходила и посмотрела - в чужой двор меня не пускали гулять. Но мальчика не было там.

И прошло очень много лет. Скажем, тридцать. И мы разговаривали с моим близким другом зимним вечером. Он тяжело болел, и жить ему оставалось недолго. И он любил длинные тихие разговоры вечерами, хотя раньше был суровый и сильный человек, молчаливый и замкнутый. Война его таким сделала. И жизнь суровая была - не до сантиментов. И не больно он любил всякие "телячьи нежности" и беседы о детстве. А потом - любил. Когда многое понял. Страдание некоторых людей очень меняет к лучшему. Мы много лет дружили уже во взрослой жизни - сразу ужасно понравились друг другу. С первого взгляда. И продружили до последнего его дня. И он все чаще вспоминал детство.

Он в деревне жил, далеко в глуши. И очень болел, ходил на костылях. И его клали в больницу, где он лежал один в палате - больница-то была деревенская. А родители работали. И он зимним вечером боялся один. И подходил к окну. Там, за окном, светил фонарь. И снег шел крупными хлопьями. И светилось ярко окно, а в окне - девочка стоит. И машет рукой. И он махал - машинкой. Так проходил вечер.

И, когда его мама забрала из больницы, он все хотел найти девочку - но вокруг и домов-то не было. Вокруг больницы было белое снежное поле, башкирская степь. Но девочка точно была! Была, конечно. И окно было, и девочка, и фонарь, и снег. И жизнь. А, когда пройдет эта жизнь, мы снова будем вместе - расстояние ничего не значит. И время - всего лишь свойство сознания. Вот оно - окно. И иногда я вижу своего друга, таким, как когда-то - с челочкой.

Мальчика в окне.

**Прощальное письмо Кати Сусаниной
(Из книги «Говорят погибшие герои»)**

Март, 12, Лиозно, 1943 год.

Дорогой, добрый папенька!

Пишу я тебе письмо из немецкой неволи.

Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя священная просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери.

Несколько слов о матери. Когда вернёшься, маму не ищи. Её расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил её плёткой по лицу, мама не стерпела и гордо сказала, вот её последние слова: «Вы не запугаете меня битьём. Я уверена, что муж вернётся назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон!» И офицер выстрелил маме в рот...

Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, И если бы сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идёт кровь — у меня отбили лёгкие. А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет? Какие хорошие были мои именины! Ты мне, папа, тогда сказали: «Расти, доченька, на радость большой!» Играл патефон, подружки поздравляли меня с днём рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню.

А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало — платье рваное, в лоскутках, номер на шее, как у преступницы, сама худая, как скелет, - и солёные слёзы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают.

Да, папа, и я рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлэна прачкой, стираю бельё, мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с «Розой» и «Кларой» - так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. «Русс была и будет свинья», - сказал он. Я очень боюсь «Клары». Это большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку.

Живу я в дровяном сарае: в комнату мне входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго била Юзефу плёткой по голове и спине.

Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и бросали в подвал.

Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию с большой партией невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с собою. Нет, Я не поеду в эту трижды всеми проклятую Германию! Я решила лучше умереть на родной сторонushке, чем быть втопанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасёт меня от жестокого битья.

Письмо уберу... Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить!.. Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать.

Твоя дочь Катя Сусанина... *Моё сердце верит: письмо дойдёт.*

Воробей

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуйав перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса — и удалился, благоговая.

Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Записки школьницы

Сегодня произошёл несчастный случай. Я получила двойку. Первую двойку за всю свою жизнь.

Вот как это случилось.

Нам задали очень непонятную задачку о двух пешеходах, которые вышли из пункта «А» и направились в пункт «Б». Что им там было нужно, — неизвестно. Но пешеходы должны были пройти тридцать восемь километров и прибыть на место в такое время, которое сошлось бы с ответом в задачнике.

Эту задачу я решала час, решала два часа и, наконец, решила, что пешеходы — ужасно глупые люди. Подумайте сами: идут пешком тридцать восемь километров и не догадаются сесть на электричку или подъехать на попутной грузовой машине. В общем-то, несообразительные пешеходы шагали и шагали и дошагались до того, что запутали мне всю задачу.

Чтобы лучше понять, как всё-таки передвигаются они от пункта «А», до пункта «Б», я нарисовала одного пешехода впереди, а другого сзади. Но ничего хорошего из этого не получилось. Тогда я выкрасила переднего пешехода в зелёный цвет, а заднего разукрасила, как зебру, разными красками, но ответ всё равно не получился.

— Дикари какие-то, а не пешеходы! — сказала я и поставила им по единице. За поведение! И за глупость!

И вот за этих несообразительных пешеходов я и схлопотала двойку.

Ну, где же справедливость?

Пешеходы не умеют ходить по дорогам, ничего не понимают, а я должна почему-то умножать, делить и складывать разные числа да получать двойки.

Терпеть не могу математику и с удовольствием не учила бы её, но папа и мама сказали, что примут меры, если у меня появится хоть ещё одна двойка по арифметике. Какие они примут меры — ещё неизвестно, только я думаю, что ничего хорошего они, конечно, не примут. Подозреваю, что папа тогда ни за что не купит мне часы, о которых я мечтаю с первого класса, а мама не сделает мне летний сарафанчик.

Да, придётся отложить писание книги и сесть за арифметику. Всё-таки неизвестно ещё: получится у меня книга или не получится, а двойка непременно получится, если я не решу сегодня все задачи.

Монолог Старой парты

И это они называют генеральной уборкой!

Вылили на пол ведро воды, махнули два раза грязной тряпкой и пошли домой.

Даже мусор из меня не вымели. Стой теперь до конца второй смены вся в подсолнечной шелухе и жвачке. Я же не помойное ведро и не урна избирательная, чтобы в меня всякую дрянь запихивать. Я, между прочим, парта ученическая, инвентарный номер 0012, год выпуска 1970. Какой я тогда была красавицей: ножки стройные, крышка чистая, полированная, свежей краской покрытая. Мальчишки ко мне так и липли!.. Пока краска не высохла.

Поставили меня на средний ряд, прямо перед учителем. За мной одни отличницы и хорошисты сидели: тихие, чистоплотные....

Помню, одна, такая умница была, секретарь комсомольской организации, на мне все протоколы комсомольских собраний строчила... Аллочка Садырина! При ней на мне ни одной помарки не появилось! Теперь студентов воспитывает!

Одно плохо - учитель сильно за дисциплину болел. Через это меня инвалидом сделал. Бывало, только заметит беспорядок, сразу меня линейкой по крышке - хрясть! На нарушителя кричит: «Как ты смеешь отвлекаться, когда я про квадрат гипотенузы рассказываю!?». И снова по мне - хрясть, хрясть! Оно, конечно, квадратная гипотенуза - для жизни вещь необходимая, но только я-то здесь при чем?

А потом переставили меня в первый ряд, в самую середину, к окну. Даудик тогда на мне сидел, шустрый мальчик был, на голове любил стоять, через это и умным стал. А на мне исключительно математические формулы писал. Теперь декан математического факультета. Потом здесь все больше троечники сидели. Целыми днями в окно глазели, а в свободное от этого увлекательного занятия время на мне слова разные выводили: «Коля +Надя =250 кг». Иногда даже целые стихотворения писали:

Кто здесь сидит, того люблю.

Кладите в парту по рублю...

Этот поэт сейчас крупными финансовыми операциями заворачивает.

Или вот объявление: «Меняю две двойки по физике на одну четверку». Его автор сейчас большой человек, в министерстве работает.

Да всего не упомнишь.

С каждым годом меня переставляли все дальше и дальше, пока не оказался я в последнем ряду у самой стенки. Здесь одни только двоечники и разгильдяи водятся. Это они меня так разделали.

На одной крышке - 73 надписи. Из них только одна приличная - «Сидоров - козел!». Здоровенный бугай, этот Сидоров. Вчера на меня с ногами залез. До сих пор поясницу ломит

И за что мне такие мучения?

Что это? Звонок. Вторая смена начинается. Хоть бы дежурные не забыли из меня мусор вынести. А то стой тогда до утра в шелухе.

Весенний рассвет

...Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На тёмно-сером небе кое-где мигают звёзды; влажный ветерок изредка набегаёт лёгкой волной; слышится сдержанный, неясный шёпот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковёр на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром.

Пристяжные ёжатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнём, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете — едете мимо церкви, с горы направо, через плотину...

Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется. Лошади уже звучно шлёпают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре... край неба алеет; в берёзах просыпаются, неловко перелётывают галки; воробьи чирикают около тёмных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснее небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнём горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце.

Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенётся, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая с белой церковью; вон берёзовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете... Живее, кони, живее! Крупной рысью вперёд!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к нам навстречу. Вы взобрались на гору... Какой вид! Река вьётся вёрст на десять, тускло синяя сквозь туман; за ней водянисто-зелёные луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль... не то, что летом.

Как вольно дышит грудь, как быстро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны!..

Ночь исцеления

Внук приехал и убежал с ребятами на лыжах кататься. А баба Дуня, разом оживев, резво суетилась в доме: варила щи, пирожки затевала, доставала варенья да компоты и поглядывала в окошко, не бежит ли Гриша.

К обеду внук заявился, поел, как подмел, и снова умчался, теперь уже в лог, с коньками. И снова баба Дуня осталась одна. Но то было не одиночество. Лежала на диване рубашка внука, книжки его – на столе, сумка брошена у порога – все не на месте, вразлад. И живым духом веяло в доме. Сын и дочь свили гнездо в городе и наезжали редко – хорошо, коли раз в год. Баба Дуня у них гостила не чаще и обыденкою вечером возвращалась к дому. С одной стороны, за хату боялась: какое ни есть, а хозяйство, с другой...

Вторая причина была поважнее: с некоторых пор спала баба Дуня тревожно, разговаривала, а то и кричала во сне. В своей хате, дома, шуми хоть на весь белый свет. Кто услышит! А вот в гостях... Только улягутся и заснут, как забормочет баба Дуня, в голос заговорит, кого-то убеждает, просит так явственно в ночной тишине, а потом закричит: «Люди добрые! Спасите!!» Конечно, все просыпаются – и к бабе Дуне. А это сон у нее такой тревожный. Поговорят, поуспокаивают, валерьянки дадут и разойдутся. А через час то же самое: «Простите Христа ради! Простите!!» И снова квартира дыбом. Конечно, все понимали, что виновата старость и несладкая жизнь, какую баба Дуня провела. С войной и голодом. Понимать понимали, но от этого было не легче.

Приезжала баба Дуня – и взрослые, считай, ночь напролет не спали. Хорошего мало. Водили ее к врачам. Те прописывали лекарства. Ничего не помогало. И стала баба Дуня ездить к детям все реже и реже, а потом лишь обыденкою: протрясется два часа в автобусе, спросит про здоровье и назад. И к ней, в родительский дом, приезжали лишь в отпуск, по лету. Но вот внучек Гриша, в годы войдя, стал ездить чаще: на зимние каникулы, на Октябрьские праздники да Майские.

Он зимой и летом рыбачил в Дону, грибы собирал, катался на коньках да лыжах, дружил с уличными ребятами, – словом, не скучал. Баба Дуня радовалась.

И нынче с Гришиным приездом она про хвори забыла. День летел невидя, в суете и заботах. Не успела оглянуться, а уж синело за окном, подступал вечер. Гриша заявился по-светлому. Загромыхал на крылечке,

в хату влетел краснощекий, с морозным духом и с порога заявил:

– Завтра на рыбалку! Берш за мостом берется. Дуром!

– Это хорошо, – одобрила баба Дуня. – Ушицей посладимся.

Гриша поужинал и сел разбирать снасти: мормышки да блесны проверял, на полдома разложив свое богатство. А баба Дуня устроилась на диване и глядела на внука, расспрашивая его о том о сем. Внук все малым был да малым, а в последние год-два вдруг вытянулся, и баба Дуня с трудом признавала в этом длинноногом, большеруком подростке с черным пушком на губе косолапого Гришатку.

– Бабаня, я говорю, и можешь быть уверена. Будет уха и жарёха. Фирма веников не вяжет. Учти.

– С вениками правда плохо, – согласилась баба Дуня. – До трех рублей на базаре.

Гриша рассмеялся:

– Я про рыбу.

– Про рыбу... У меня дядя рыбалил. Дядя Авдей. Мы на Картулях жили. Меня оттуда замуж брали. Так там рыбы...

Гриша сидел на полу, среди блесен и лесок, длинные ноги – через всю комнатушку, от кровати до дивана. Он слушал, а потом заключил:

– Ничего, и мы завтра наловим: на уху и жарёху.

За окном солнце давно закатилось. Долго розовело небо. И уже светила луна половинкою, но так хорошо, ясно. Укладывались спать. Баба Дуня, совесть, сказала:

– Ночью, може, я шуметь буду. Так ты разбуди.

Гриша отмахивался:

– Я, бабаня, ничегоне слышу. Сплю мертвым сном.

– Ну и слава Богу. А то вот я шумлю, дура старая. Ничего поделывать не могу.

Заснули быстро, и баба Дуня, и внук.

Но среди ночи Гриша проснулся от крика:

– Помогите! Помогите, люди добрые!

Спросонья, во тьме он ничего не понял, и страх обуял его.

– Люди добрые! Карточки потеряла! Карточки в синем платочке завязаны! Может, кто поднял? – И смолкла.

Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня. Во тьме, в тишине так ясно слышалось тяжелое бабушкино дыхание. Она словно продыхивалась, сил набиралась. И снова запричитала, пока не в голос:

– Карточки... Где карточки... В синем платочке... Люди добрые. Ребятишки... Петяня, Шурик, Таечка... Домой приду, они исть попросят... Хлебец дай, мамушка. А мамушка ихняя... – Баба Дуня запнулась, словно ошеломленная, и закричала: – Люди добрые! Не дайте помереть! Петяня! Шура! Таечка! – Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно.

Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошел в бабушкину комнату.

– Бабаня! Бабаня! – позвал он. – Проснись...

Она проснулась, заворочалась:

– Гриша, ты? Разбудила тебя. Прости, Христа ради.

– Ты, бабаня, не на тот бок легла, на сердце.

– На сердце, на сердце... – послушно согласилась баба Дуня.

– Нельзя на сердце. Ты на правый ложись.

– лягу, лягу...

Она чувствовала себя такой виноватой. Гриша вернулся к себе, лег в постель. Баба Дуня ворочалась, вздыхала. Не сразу отступало то, что пришло во сне. Внук тоже не спал, лежал, угреваясь. Про карточки он знал. На них давали хлеб. Давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка, – это отец.

В жидкой тьме лунного полусвета темнели шкаф и этажерка. Стало думаться об утре, о рыбалке, и уже в полудреме Гриша услышал бабушкино бормотание:

– Зима находит... Желудков запастись... Ребятишкам, детишкам... – бормотала баба Дуня. – Хлебца не хватает, и желудками обойдемся. Не отымайте, Христа ради... Не отымайте! – закричала она. – Хучь мешки отдайте! Мешки! – И рыдания оборвали крик.

Гриша вскочил с постели.

– Бабаня! Бабаня! – крикнул он и свет зажег в кухне. – Бабаня, проснись!

Баба Дуня проснулась. Гриша наклонился над ней. В свете электрической лампочки засияли на бабушкином лице слезы.

– Бабаня... – охнул Гриша. – Ты вправду плачешь? Так ведь это все сон.

– Плачу, дура старая. Во сне, во сне...

– Но слезы-то зачем настоящие? Ведь сон – неправда. Ты вот проснулась, и все.

– Да это сейчас проснулась. А там...

– А чего тебеснилось?

– Снилось? Да нехорошее. Будто за желудями я ходила за Дон, на горы. Набрала в два мешка. А лесники на пароме отнимают. Вроде не положено. И мешки не отдают.

– А зачем тебе желуди?

– Кормиться. Мы их толкли, мучки чуток добавляли и чуреки пекли, ели.

– Бабаня, тебе это только снится или это было? – спросил Гриша.

– Снится, – ответила баба Дуня. – Снится – и было. Не приведи, Господи. Не приведи... Ну, ложись иди ложись...

Гриша ушел, и крепкий сон сморил его или баба Дуня больше не кричала, но до позднего утра он ничего не слышал. Утром ушел на рыбалку и, как обещал, поймал пять хороших бершей, на уху и жарёху.

За обедом баба Дуня горевала:

– Не даю тебе спать... До двух раз булгачила. Старость.

– Бабаня, в голову не бери, – успокаивал ее Гриша. – Выплюсь, какие мои годы...

Он пообедал и сразу стал собираться. А когда надел лыжный костюм, то стал еще выше. И красив он был, в лыжной шапочке, такое милое лицо, мальчишечье, смуглое, с румянцем. Баба Дуня рядом с ним казалась совсем старой: согбенное, оплывающее тело, седая голова тряслась, и в глазах уже виделось что-то нездешнее. Гриша мельком, но явственно вспомнил лицо ее в полутьме, в слезах. Воспоминание резануло по сердцу. Он поспешил уйти.

Во дворе ждали друзья. Рядом лежала степь. Чуть поодаль зеленели посадки сосны. Так хорошо было бежать там на лыжах. Смолистый дух проникал в кровь живительным холодком и, казалось, возносил над лыжной послушное тело. И легко было мчаться, словно парить. За соснами высились песчаные бугры – кучугуры, поросшие красноталом. Они шли холмистой грядой до самого Дона. Туда, к высоким задонским холмам, тоже заснеженным, тянуло. Манило к крутизне, когда наждаковый ветер высекает из глаз слезу, а ты летишь, чуть присев, узкими щелочками глаз цепко ловишь впереди каждый бугорок и впадинку, чтобы встретить их, и тело твое цепенеет в тряском лете. И наконец пулей вылетаешь на гладкую скатерть заснеженной реки и, расслабившись, выдохнув весь испуг, катишь и катишь спокойно, до середины Дона.

Этой ночью Гриша не слышал бабы Дуниных криков, хотя утром по лицу ее понял, что она беспокойно спала.

– Не будила тебя? Ну и слава Богу...

Прошел еще день и еще. А потом как-то к вечеру он ходил на почту, в город звонить. В разговоре мать спросила:

– Спать тебе баба Дуня дает? – И посоветовала: – Она лишь начнет с вечера говорить, а ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали.

По пути домой стало думаться о бабушке. Сейчас, со стороны, она казалась такой слабой и одинокой. А тут еще эти ночи в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли. А для бабушки – нет. И с какой, верно, тягостью ждет она ночи. Все люди прожили горькое и забыли. А у нее оно снова и снова. Но как помочь?

Свечерело. Солнце скрылось за прибрежными донскими холмами. Розовая кайма лежала за Доном, а по ней – редкий далекий лес узорчатой чернью. В поселке было тихо, лишь малые детишки смеялись, катаясь на салазках. Про бабушку думать было больно. Как помочь ей? Как мать советовала? Говорит, помогает. Вполне может и быть. Это ведь психика. Приказать, крикнуть – и перестанет. Гриша неторопливо шел и шел, раздумывая, и в душе его что-то теплело и таяло, что-то жгло и жгло. Весь вечер за ужином, а потом за книгой, у телевизора Гриша нет-нет да и вспоминал о прошедшем. Вспоминал и глядел на бабушку, думал: «Лишь бы не заснуть».

За ужином он пил крепкий чай, чтобы не сморило. Выпил чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи. И пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лег, а сел в постели, дожидаясь своего часа. За окном светила луна. Снег белел. Чернели сараи. Баба Дуня скоро заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда наконец из комнаты бабушки донеслось еще невнятное бормотание, он поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь.

– Потеряла... Нет... Нету карточек... – бормотала баба Дуня еще негромко. – Карточки... Где... Карточки... – И слезы, слезы подкатывали.

Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял – топнуть. Чтобы уж наверняка.

– Хлебные... карточки... – в тяжелой муке, со слезами выговаривала баба Дуня.

Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:

– Вот ваши карточки, бабаня... В синем платочке, да? ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронули. А я поднял. Вот видите, возьмите, – настойчиво повторял он. – Все целые, берите...

Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не сразу пришли слова. Но пришли:

– Мои, мои... Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я обронула. Спаси Христос, добрый человек...

По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.

– Не надо плакать, – громко сказал он. – Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать, – говорил он, словно приказывал. – И спите спокойно. Спите.

Баба Дуня смолкла.

Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его бил озноб. Какой-то холод пронизывал до костей. И нельзя было согреться. Печка была еще тепла. Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то еще... Он не спал, но находился в

странном забытьи, словно в годах далеких, иных, и в жизни чужой, и виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. И он плакал, вытирая слезы кулаком. Но как только баба Дуня заговорила, он забыл обо всем. Ясной стала голова, и ушла из тела дрожь. К бабе Дуне он подошел вовремя.

– Документ есть, есть документ... вот он... – дрожащим голосом говорила она. – К мужу в госпиталь пробираюсь. А ночь на дворе. Пустите переночевать.

Гриша словно увидел темную улицу и женщину во тьме и распахнул ей навстречу дверь.

– Конечно, пустим. Проходите, пожалуйста. Проходите. Не нужен ваш документ.

– Документ есть! – выкрикнула баба Дуня.

Гриша понял, что надо брать документ.

– Хорошо, давайте. Так... Ясно. Очень хороший документ. Правильный. С фотокарточкой, с печатью.

– Правильный... – облегченно вздохнула баба Дуня.

– Все сходится. Проходите.

– Мне бы на полу. Лишь до утра. Переждать.

– Никакого пола. Вот кровать. Спите спокойно. Спите. Спите. На бочок и спите.

Баба Дуня послушно повернулась на правый бок, положила под голову ладошку и заснула. Теперь уже до утра. Гриша посидел над ней, поднялся, потушил в кухне свет. Кособокая луна, опускаясь, глядела в окно. Белел снег, посверкивая живыми искрами. Гриша лег в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке и как они вместе... Но вдруг обожгло его ясной мыслью: нельзя говорить. Он отчетливо понял – ни слова, ни даже намек. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и молчать. И придет исцеление.

Не пускайте Рыжую на озеро

Светка Сергеева была рыжая. Волосы у неё грубые и толстые, словно яркая медная проволока. Из этой проволоки заплеталась тяжёлая коса.

Лицо у Светки бледное, в крупных веснушках, насакивающих одна на другую. А глаза у неё зелёные, блестящие, как лягушата.

В классе её не любили. Именно за то, что она рыжая была. Ясное дело, Рыжухой дразнили. И ещё не любили за то, что голос у неё ужасно пронзительный. Цвет её волос и её голос сливались в одно понятие: Ры-жа-я.

Жила она с матерью и двумя сестрёнками. Отец от них ушёл. Ясное дело, как жили. Трудно. Но девчонки трудности Рыжухи во внимание не принимали. Наоборот, презирали её ещё и за единственные потёртые джинсы.

Мы с ребятами очень любили в походы ходить. Каждый год ходили по несколько раз. А летом поход был обязательно с ночёвкой.

Мальчишки в походе рыбу ловили на озере. Вечером там самый клёв. Но половить им не удавалось. Из-за Рыжухи, между прочим, из-за Светки Сергеевой.

Она вечером возьмёт свою синюю лодочку, выплывет на середину озера, а кругом красота, птички поют, деревья в воде отражаются, а вода тихая-тихая.

Выплывет она на середину озера и начинает выть. Ну, она, ясное дело, пела, конечно, но пением это не назовёшь. У мальчишек рыба клевать тут же переставала.

В день последнего экзамена в девятом классе мы собрались в поход.

Тёплым июньским днём 25 дружных ребят устроились на палубе теплохода. По всякому поводу мы смеёмся. Экзамены позади – весело. Лето впереди – весело.

Рыжуха сидела на краю скамейки, рядом с ней – пустота. Никто с ней не садится.

И тут к ней подходит Женька. Стройный симпатичный малый, в спортивном костюме «Адидас». Рыжуха чувствует подвох.

– Слышь, Рыжуха. Это твоя сумка?– спрашивает Женька и кивает на допотопную дерматиновую сумку.

– Моя,– отвечает Рыжуха.

– Алле хоп!– восклицает Женька, хватая сумку, и бежит с ней по палубе. И вот мы слышим, как он кричит уже с причала:

– Эй, Рыжая! Вон где твоя сумочка! Слышь?

Рыжуха сидела-сидела, потеряно глядя в пол, потом как вскочит и – к выходу. Еле успела, теплоход сразу же отчалил. А Женька с палубы кричит:

– Прощай, Рыжая! Нельзя тебе на озеро, ты всю рыбу распугаешь!

В десятый Рыжая не пошла. Классная сказала, что она поступила в какое-то музыкальное училище. А ещё через пять лет произошла вот такая история.

Когда я начинал учиться в одном из Петербургских вузов, моя девушка Наташа повела меня в Маринку, на оперу. И что же я вижу в первые минуты спектакля?

На сцене появляется золотоволосая красавица. У нее белейшая кожа! Как величаво она идёт по сцене! От всей её наружности веет благородством! Пока я ещё ничего не подозреваю, просто отмечаю про себя, что молодая девушка на сцене прямо-таки роскошная. Но когда она запела высоким, удивительно знакомым голосом, меня мгновенно бросило в пот.

– Рыжуха!– ахнул я.

Весь спектакль я просидел, не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в моём сердце – восторга или стыда. И всю дорогу домой я думал, что не Светка была рыжая. Светка-то оказалась золотой. А рыжие мы. Весь класс рыжий.

Заслуженная оценка

Класс замер. Изабелла Михайловна склонилась над журналом и, наконец, произнесла:

— Рогов.

Все облегченно вздохнули и захлопнули учебники. А Рогов вышел к доске, почесался и почему-то сказал:

— Хорошо выглядите сегодня, Изабелла Михайловна!

Изабелла Михайловна сняла очки:

— Ну-ну, Рогов. Начинай.

Рогов шмыгнув носом и начал:

— Прическа у вас аккуратная! Не то, что у меня.

Изабелла Михайловна встала и подошла к карте мира:

— Ты что, не выучил урок?

— Да! — с жаром воскликнул Рогов. — Каюсь! Ничего от вас не скроешь! Опыт работы с детьми — колоссальный!

Изабелла Михайловна улыбнулась и сказала:

— Ой, Рогов, Рогов! Покажи хоть, где Африка находится.

— Там, — сказал Рогов и махнул рукой за окно.

— Ну, садись, — вздохнула Изабелла Михайловна. — Тройка...

На перемене Рогов давал товарищам интервью:

— Главное — этой кикиморе про глазки запустить...

Изабелла Михайловна как раз проходила мимо.

— А, — успокоил товарищей Рогов. — Эта глухая тетеря дальше двух шагов не слышит.

Изабелла Михайловна остановилась и глянула на Рогова так, что Рогов понял: тетеря слышит дальше двух шагов.

На следующий же день Изабелла Михайловна опять вызвала к доске Рогова.

Рогов стал белым как полотно и прохрипел:

— Вы ж меня вчера вызывали!

— А я ещё хочу, — сказала Изабелла Михайловна и прищурилась.

— Эх, такая улыбка у вас ослепительная, — промямлил Рогов и затих.

— Ещё что? — сухо спросила Изабелла Михайловна.

— Ещё голос у вас приятный, — выдавил из себя Рогов.

— Так, — сказала Изабелла Михайловна. — Урок ты не выучил.

— Всё-то вы видите, всё-то вы знаете, — вяло сказал Рогов. — А зачем-то в школу пошли, на таких, как я, здоровье гробите. Вам бы к морю сейчас, стихи писать, человека хорошего встретить...

Склонив голову, Изабелла Михайловна задумчиво водила по бумаге карандашом. Потом вздохнула и тихо сказала:

— Ну, садись, Рогов. Тройка.

Сладкая работа

Мальчишки сидели за столиком во дворе и изнывали от безделья. В футбол играть - жарко, на речку идти - далеко. И так уже два раза сегодня ходили.

Подошел Димка с кульком конфет. Дал каждому по конфете и сказал:

- Вот вы тут дурака валяете, а я на работу устроился.

- На какую работу?

- Дегустатором на кондитерскую фабрику. Вот работу на дом взял.

- Ты что, серьезно? - разволновались мальчишки.

- Ну вы же видите.

- А что у тебя там за работа?

- Конфеты пробую. Их ведь как делают? Высыпают в большой чан мешок сахарного песка, мешок сухого молока, потом ведро какао, ведро орехов... А если кто-то лишний килограмм орехов засыплет? Или наоборот...

- Скорее наоборот, - вставил кто-то.

- Надо же, в конце концов, попробовать, что получилось, нужен человек с хорошим вкусом. А они уже сами не могут это есть. Не то что есть - смотреть уже не могут на эти конфеты! Поэтому у них там всюду автоматические линии. А результат несут нам, дегустаторам. Ну, мы попробуем и говорим: все нормально, можно везти в магазин. Или: а вот сюда неплохо бы добавить изюм и сделать новый сорт под названием "Зю-зю".

- Ух ты, здорово! Димка, а ты спроси, не нужны им еще дегустаторы?

- Я спрошу.

- Я бы на участок шоколадных конфет пошел. Я в них хорошо разбираюсь.

- А я и на карамели согласен. Димка, а зарплату там платят?

- Нет, только конфетами расплачиваются.

- Димка, а давай мы сейчас новый сорт конфет придумаем, а ты им завтра предложишь!

Подошел Петров, постоял немного рядом и сказал:

- Кого вы слушаете? Мало он вас обманывал? Димка, признайся: лапшу на уши вешаешь!

- Вот ты всегда такой, Петров. Придешь и все испортишь. Помечтать не дашь.

Вопросы наизнанку

Жил-был один мальчик, который целые дни только и делал, что приставал ко всем с вопросами. В этом, конечно, нет ничего плохого, напротив, любознательность - дело похвальное. Но беда в том, что на вопросы этого мальчика никому не удавалось ответить.

Например, приходит он однажды и спрашивает:

- Почему у ящиков есть стол?

Конечно, люди только удивленно открывали глаза или на всякий случай отвечали:

- Ящики служат для того, чтобы в них что-нибудь класть. Ну, скажем, обеденные приборы.

- Я знаю, зачем ящики. А вот почему у ящиков есть столы?

Люди качали головами и спешили уйти. В другой раз он спрашивал:

- Почему у хвоста есть рыба?

Или еще:

- Почему у усов есть кошка?

Люди пожимали плечами и спешили уйти, потому что у всех были свои дела.

Мальчик подрастал, но по-прежнему оставался почемучкой, и не простым, а почемучкой наизнанку. Даже став взрослым, он ходил и приставал ко всем с вопросами. Само собой понятно, что никто, ни один человек, не мог на них ответить. Совсем отчаявшись, почемучка наизнанку удалился на вершину горы, построил себе хижину и придумывал там, на свободе, все новые и новые вопросы. Придумывал, записывал их в тетрадку, а потом ломал голову, стараясь найти ответ. Однако, ни разу в жизни он не ответил ни на один из своих вопросов.

Да и как было ответить, если в тетрадке у него было написано: "Почему у тени есть сосна?" "Почему облака не пишут писем?" "Почему почтовые марки не пьют пива?" От напряжения у него начались головные боли, но он не обращал на это внимания и все придумывал и придумывал свои бесконечные вопросы. Мало-помалу у него отросла длинная борода, но он даже не думал ее подстригать. Вместо этого он придумал новый вопрос: "Почему у бороды есть лицо?"

Одним словом, это был чудака, каких мало. Когда он умер, один ученый стал исследовать его жизнь и сделал удивительное научное открытие. Оказалось, что этот почемучка с детства привык надевать чулки наизнанку и надевал их так всю жизнь. Ни разу ему не удавалось надеть их как полагается. Поэтому-то он до самой смерти не мог научиться задавать правильные вопросы.

А посмотри-ка на свои чулки, верно ли ты их надел?

Лесной голосок

Солнечный день в самом начале лета. Я брожу неподалёку от дома, в берёзовом перелеске. Всё кругом будто купается, плещется в золотистых волнах тепла и света. Надо мной струятся ветви берёз. Листья на них кажутся то изумрудно-зелёными, то совсем золотыми. А внизу, под берёзами, по траве тоже, как волны, бегут и струятся лёгкие синеватые тени. И светлые зайчики, как отражения солнца в воде, бегут один за другим по траве, по дорожке.

Солнце и в небе, и на земле... И от этого становится так хорошо, так весело, что хочется убежать куда-то вдаль, туда, где стволы молодых берёзок так и сверкают своей ослепительной белизной.

И вдруг из этой солнечной дали мне послышался знакомый лесной голосок: «Ку-ку, ку-ку!».

Кукушка! Я уже слышал её много раз, но никогда ещё не видал даже на картинке. Какая она из себя? Мне почему-то она казалась толстенькой, головастой, вроде совы. Но, может, она совсем не такая? Побегу — погляжу.

Увы, это оказалось совсем не просто. Я — к ней на голос. А она замолчит, и вот снова: «Ку-ку, ку-ку», но уже совсем в другом месте.

Как же её увидеть? Я остановился в раздумье. А может, она играет со мною в прятки? Она прячется, а я ищу. А давай-ка играть наоборот: теперь я спрячусь, а ты поищи.

Я залез в куст орешника и тоже кукукнул раз, другой. Кукушка замолкла, может, ищет меня? Сижу молчу и я, у самого даже сердце колотится от волнения. И вдруг где-то неподалёку: «Ку-ку, ку-ку!»

Я — молчок: поищи-ка лучше, не кричи на весь лес.

А она уже совсем близко: «Ку-ку, ку-ку!»

Гляжу: через поляну летит какая-то птица, хвост длинный, сама серая, только грудка в тёмных пестринках. Наверное, ястребёнок. Такой у нас во дворе за воробьями охотится. Подлетел к соседнему дереву, сел на сучок, пригнулся да как закричит: «Ку-ку, ку-ку!»

Кукушка! Вот так раз! Значит, она не на сову, а на ястребка похожа.

Я как кукукну ей из куста в ответ! С перепугу она чуть с дерева не свалилась, сразу вниз с сучка метнулась, шмыг куда-то в лесную чащу, только её я и видел.

Но мне и видеть её больше не надо. Вот я и разгадал лесную загадку, да к тому же и сам в первый раз заговорил с птицей на её родном языке.

Так звонкий лесной голосок кукушки открыл мне первую тайну леса. И с тех пор вот уж полвека я брожу зимою и летом по глухим нехоженным тропам и открываю всё новые и новые тайны. И нет конца этим извилистым тропам, и нет конца тайнам родной природы.

**Да спасет тебя любовь моя!
(Монолог Кати)**

Я плохо помню эти проводы, продолжавшиеся весь день – от самого раннего утра до сумерек, подступивших по декабрьскому рану. Как будто старая немая кинолента шла передо мной, и сонное сознание то следовало за ней, то оступалось в снег, заваливший Васильевский остров.

Вот мы идем, не чувствуя ничего, кроме холода, усталости и нелюбви к окостеневшему трупу. Мальчишки тащат Бертю по очереди, в гору вдвоем, а на скатах она поспешно съезжает сама, точно торопясь поскорее освободить нас от этих скучных забот, которые она невольно нам причинила.

Блестит на солнце привязанная к трупу лопата, и, глядя на этот блеск, я почему—то вспоминаю Крым и море. Нам было так хорошо в Крыму! Саня вставал в пять часов, я готовила ему легкий завтрак, когда знала, что он идет на высокий полет. Мы купили душ «стандарт», я все приладила, устроила, и после душа Саня садился за стол в желтой полосатой пижаме. Как—то мы поехали в Севастополь, море было беспокойно, погода хмурилась – летчикам всегда давали отпуска в самое неподходящее время. Я огорчилась, и Саня сказал: «Ничего, я тебе организую погоду». И правда, только отвалил пароход, как стала прекрасная погода.

Как весело, как легко было мне стоять с ним на белой нарядной палубе, в белом платье, говорить и смеяться и стараться быть красивой, потому что я знала, что ему нравится, когда я нравлюсь другим! Как ослепительно сверкало солнце везде, куда ни кинешь взгляд, – на медных поручнях капитанского мостика, на гребешках закидывавшейся под ветром волны, на мокром крыле нырнувшей чайки!..

«Саня жив, – вдруг подумала я, и рванулось, замерло сердце от счастья.

Была ночь и тревога..., и я осталась одна.

«Тик-так», – стучал метроном. Кто-то, помнится, говорил мне, что только в Ленинграде передают стук метронома во время тревоги. Стекла вздрагивали и вместе с ними – желтый листок коптилки, стоявшей на столе...

Под шубами, под одеялами, под старым лисьим мехом я не слышала, как сыграли отбой. Сыграли – и вновь началась тревога. «Тик-так, - застучал метроном. – Верись - не верись».

Это сердце стучало и молилось зимней ночью, в голодном городе, в холодном доме, в маленькой кухне, чуть освещенной желтым огоньком коптилки, которая слабо вспыхивала, борясь с тенями, выступавшими из углов.

Да спасет тебя любовь моя! Да коснется тебя надежда моя! Встанет рядом, заглянет в глаза, вдохнет жизнь в помертвевшие губы! Прижмется лицом к кровавым бинтам на ногах. Скажет: это я, твоя Катя! Я пришла к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, что бы ни случилось с тобой. Пускай другая поможет, поддержит тебя, напоит и накормит – это я, твоя Катя. И если смерть склонится над твоим изголовьем и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце – это буду я, и я спасу тебя...

**Молодая гвардия
(монолог «Руки матери»)**

...Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, - он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А в темные жилочки.

С того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, как ты в изнеможении, тихо, в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили не пеленки, и помню, как ты в тулупчике, зимой, несла ведра в коромысле, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: «Бе-а-ба, ба-ба».

Я помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела – пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы ни сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они не погнушались.

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты была возле меня, и ночник горел в комнате, ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои!

Оглянись и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать, - не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя сидят наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы.

Мама, мама!.. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости...

Лягушонок

В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много три — и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Мы думали, где-то угли жгли. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг — вот те угли! — на сером снегу стало белое пятно: это мельчайшие жучки - прыгунки разлетелись в разные стороны.

В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки-паучки, блошки, даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу.

Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать.

След вначале был прямой, лапка за лапкой к ближайшему болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперед и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.

Что случилось? Почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?

Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше и вот видим: сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки.

Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что лягушонок остановился, сунулся туда-сюда и круто повернул к теплой дырочке, из которой почуял весну.

В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он все не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.

Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься! Не больше часу прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.

Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие:

— Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.

**Ванькина молитва
(отрывок)**

...Ванька полежал еще немного, потянулся, согнал с себя лень и босыми ногами, ощущая на горячих подошвах холодок пола, вышел на крыльцо.

Было раннее, прохладное утро. Вдали, на горе, сияя на солнце крестами колоколен и белыми домами, стоял город.

Там жили люди, которые имеют возможность платить по гривеннику за фунт яблок. Там будет жить и он, Ванька. Но, конечно, уж он не будет тратить гривенников на пустяки. Он купит что-нибудь хорошее, полезное, например лошадь. Будет ездить на ней в поле, до Надеждинской церкви, и на свежем воздухе — петь.

— Под-дай, господи!..— пробасил Ванька, как дьячок в церкви, чтоб прочистить голос, и затем, управляя обеими руками, спел еще сербское:

— Теб-бе, господи!

Спел так, как учил его отец.

На пение прибежал верный Ванькин пес, который носил странное имя: Кисель. Это был здоровый дворняга, лохматый, с обвислой шерстью и с хвостом всегда в репьях. По мнению своего хозяина, Кисель был самый умный пес во всей улице. Он был стар и никогда не лаял без дела. Все соседские собаки приходили к нему учиться, как нужно жить на белом свете. И покойник отец неоднократно говаривал, что если бы Киселя послать в Москву на выставку, то ему за ум дали бы медаль и Кисель был бы похож на ста-росту.

Ванька сел на порог, Кисель, по своему обыкновению, сейчас же уселся около него, глядя ему прямо в глаза и распутив хвост метлой. Хозяин почесал у него за ушами и повел такую речь:

— Ну, Кисель, сегодня я, брат, тово... Вон, поверни мор-ду... Видишь? Уйду... Вон туда... В город... Уйду... Прощай, брат.

Ванька погладил его по голове, а Кисель, в благодарность за ласку, вытянул морду и лизнул Ваньку по носу. Тот утерся рукавом и продолжал:

— Ты тут без меня не дури! Знай, что я — человек строгий и шуток не люблю. Если мать скажет что, выдеру, брат, тебя как Сидорову козу. То-то... Собак маленьких не обижай зря. Тебе-то старому хрену, и самому это знать нужно.

Кисель изловчился и цапнул зубами муху, которая уселась у него на носу и за которой он давно уже следил глазами.

Яиц в сарае — боже тебя упаси! Я знаю, ты повадился за последнее время к курам лазить. Смо-отри! — И Ванька пригрозил Киселю пальцем.— Бо-оже тебя упаси! Ну, в воскресенье слопай пару, черт с тобой, а больше ни-ни! Не выводи меня из терпения.

Кисель сделал невинные глаза и, словно не ему говорят, поставил хвост трубой.

— Будешь вести себя хорошо,— продолжал Ванька,— будку тебе с замочком устрой, с окошечком. Будешь себе на старости лет сидеть, на двор поглядывать,— как там дож-дик идет. Другие собаки в голоде да в холоде, а ты у меня как паша. Да-а!

Потом Ванька вспомнил вдруг про себя, что ему придется бросить все: и дом, и мать, и Киселя, и Сорокоумова,— и ему стало грустно.

— Приходи, брат, меня проведывать! — меланхолично сказал он, обняв Киселя за шею и прислонившись к нему головой. — Почаще приходи... Я тебя сахаром покормлю. В чужие, брат, люди иду... Может, меня бить будут... Придешь, поговорим,— все свой человек. На душе и полегчает. Вам, собакам, добро: денег зарабатывать не надо, а нам надо. Вам хорошо. Стрельнут тебя по боку камнем,— у тебя как с гуся вода. А меня ударь — шишка в три аршина вырастет.

Долго разговаривал он с Киселем, потом встал и начал умываться, сам поливая себе на руку. И пыль, на которую падала вода, сейчас же покрывалась коричневыми пятнами. Было еще рано, и тень от предметов падала черная и густая. Но день обещал быть жарким, и в городе, вероятно, будет пыль. С крыльца было видно, как внизу, на огородах, сверкали на солнце пруды, и колосился камыш.

Ванька, в ожидании матери, походил по двору, посмотрел, не вывели ли индюшки индюшат, попробовал за стропило крышу сарая и спустился в погреб. Погреб был вырыт в земле, и в нем всегда было холодно. Там пахло солеными огурцами, укропом и еще чем-то, дававшим, в общей сложности, приятный запах. На полочках, у стены, стояли кувшины с молоком, приготовленные к завтрашнему базару. В другое время Ванька не выдержал бы и серьезно ознакомился бы со всеми вкусными вещами, но теперь, вспомнив, что все это — деньги, которые нужно зарабатывать, повернулся от искушения, глубоко вздохнул и полез вон из погреба. У выхода, заглядывая вниз, стоял Кисель и махал хвостом...

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ АВТОРОВ

Шприц Игорь «Не верь, не бойся, не проси» (Монолог Аси).....	2
Беленицкая Нина «Письма к тятеньке» (монолог Дочери). Письмо 1.....	3
Беленицкая Нина «Письма к тятеньке» (монолог Дочери). Письмо 6.....	4
Бартенев М. «Вино из одуванчиков» (по Рею Бредбери). Монолог Лумис	5
Цвейг Стефан «Письмо незнакомки».....	6
Шерстобитова Ольга «Слово о маме».....	7
Пономаренко Елена «Леночка».....	9
Тихомирова Ольга «А вдруг?».....	11
Чехов А.П. «После театра» (монолог Нади Зелениной).....	12
Дятлов Владимир «Гвардейский значок».....	14
Богаев Олег «Марьино поле» (монолог Маши).....	15
Крюс Джеймс «Тим Тайлер или Проданный смех» (монолог Тима Тайлера).....	16
Чехов А.П. «Краткая анатомия человека».....	17
Кирьянова Анна «Про окно».....	18
Прощальное письмо Кати Сусаниной (из книги «Говорят погибшие герои»).....	19
Тургенев И.С. Воробей.....	20
Ларри Ян «Записки школьницы».....	21
Логинов Анатолий «Монолог Старой парты».....	22
Тургенев И.С. «Весенний рассвет».....	23
Екимов Борис «Ночь исцеления».....	24
Габова Елена «Не пускайте Рыжую на озеро».....	29
Мелихан Константин «Заслуженная оценка».....	30
Степанов Сергей «Сладкая работа».....	31
Родари Джанни «Вопросы наизнанку».....	32
Скребицкий Георгий «Лесной голосок».....	33
Каверин Вениамин «Да спасет тебя любовь моя!» (монолог Кати).....	34
Фадеев Александр «Молодая гвардия» (монолог «Руки матери»).....	35
Пришвин Михаил «Лягушонок».....	36
Сургучёв Иван «Ванькина молитва» (отрывок).....	37